

# Повесть о двух городах

**Автор:**

Чарльз Диккенс

Повесть о двух городах

Чарльз Диккенс

«Повесть о двух городах» – исторический роман Чарльза Диккенса о временах Французской революции в Париже и Лондоне. О том, что предшествует началу любых кровавых событий, что движет людьми, когда уже ничего не остается, кроме последнего довода народа – восстания. Одновременно с этой социальной составляющей «Повесть о двух городах» – роман о любви и дружбе, которые лишь крепнут в гиблые и бессмысленные времена революций, и силе человеческого духа, для которого смыслом жизни становится спасение человечества.

Чарльз Диккенс

Повесть о двух городах

© Перевод. М. П. Богословская, наследники, 2019

© Перевод. С. П. Бобров, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

\* \* \*

## Предисловие автора

Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я с моими детьми и друзьями участвовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза «Застывшая пучина». Мне очень хотелось войти по-настоящему в роль, и я старался представить себе то душевное состояние, которое я мог бы правдиво передать, дабы захватить зрителя.

По мере того как у меня складывалось представление о моем герое, оно постепенно облекалось в ту форму, в которую и вылилось окончательно в этой повести. Я поистине перевоплотился в него, когда играл. Я так остро пережил и почувствовал все то, что выстрадано и пережито на этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам.

Во всем, что касается жизни французского народа до и во время Революции, я в своих описаниях (вплоть до самых незначительных мелочей) опирался на правдивые свидетельства очевидцев, заслуживающих безусловного доверия.

Я льстил себя надеждой, что мне удастся внести нечто новое в изображение той грозной эпохи, живописав ее в доступной для широкого читателя форме, ибо, что касается ее философского раскрытия, вряд ли можно добавить что-либо к замечательной книге мистера Карлейля.

Ноябрь 1850 г.

## Книга первая

### Возвращен к жизни

#### Глава I

## То время

Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, – словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нем – будь то в хорошем или в дурном смысле – говорили не иначе, как в превосходной степени.

В то время на английском престоле сидел король с тяжелой челюстью и некрасивая королева; король с тяжелой челюстью и красивая королева сидели на французском престоле. И в той и в другой стране лорды, хранители земных благ, считали незыблемой истиной, что существующий порядок вещей установлен раз навсегда, на веки вечные.

Стояло лето господне 1775-е. В ту благословенную пору Англия, как и ныне, сподобилась откровения свыше. Миссис Сауткотт только что исполнилось двадцать пять лет и по сему случаю некоему рядовому лейб-гвардии, наделенному пророческим даром, было видение, что в оный знаменательный день твердь земная разверзнется и поглотит Лондон с Вестминстером. Да и коклейнский призрак угомонился всего лишь каких-нибудь двенадцать лет, не больше, после того как он, точь-в-точь как наши прошлогодние духи (проявившие сверхъестественное отсутствие всякой изобретательности), простучал все, что ему было положено. И только совсем недавно от конгресса английских подданных в Америке до английского престола и народа стали доходить сообщения на простом, человеческом языке о вполне земных делах и событиях, и, сколь это ни странно, оные сообщения оказались чреватые много более серьезными последствиями для человечества, нежели все те, что поступали от птенцов коклейнского вывода.

Франция, которая не пользовалась таким благоволением духов, как ее сестрица со щитом и трезубцем, печатала бумажные деньги, транжирила их и быстро катилась под гору. Следуя наставлениям своих христианских пастырей, она, кроме того, изощрялась в высокочеловеколюбивых подвигах; так, например, одного подростка приговорили к следующей позорной казни: ему отрубили обе руки, вырвали клещами язык, а потом сожгли живьем за то, что он не преклонил колен в слякоть перед кучкой грязных монахов, шествовавших мимо него на

расстоянии пятидесяти шагов. Не лишено вероятности, что в ту пору, когда предавали казни этого мученика, где-нибудь в лесах Франции и Норвегии росли те самые деревья, уже отмеченные Дровосеком Судьбой, кои предрешено было срубить и распилить на доски, дабы сколотить из них некую передвижную машину с мешком и ножом, оставившую по себе страшную славу в истории человечества. Не лишено вероятности, что в убогом сарае какого-нибудь землепашца, под Парижем, стояли в тот самый день укрытые от непогоды, грубо сколоченные телеги, облепленные деревенской грязью – на них, как на насесте, сидели куры, а тут же внизу копошились свиньи, – и Хозяин Смерть уже облюбовал их как собственные двуколки Революции. Но эти двое – Дровосек и Хозяин, – хоть они и трудятся не переставая, но трудятся оба беззвучно, и никто не слышит, как они тихо шагают приглушенными шагами, а если бы кто и осмелился высказать предположение, что они не спят, а бодрствуют, такого человека тотчас же объявили бы безбожником и бунтовщиком.

Англия гордилась своим порядком и благоденствием, но на самом деле похвастаться было нечем. Даже в столице каждую ночь происходили вооруженные грабежи, разбойники врывались в дома, грабили на улицах; власти советовали семейным людям не выезжать из города, не сдав предварительно свое домашнее имущество в мебельные склады; грабитель, орудовавший ночью на большой дороге, мог оказаться днем мирным торговцем Сити; так однажды некий купец, на которого ночью напала разбойничья шайка, узнал в главаре своего собрата по торговле и окликнул его, тот предупредительно всадил ему пулю в лоб и ускакал; на почтовую карету однажды напало семеро, троих кондуктор уложил на месте, а остальные четверо уложили его самого – у бедняги не хватило зарядов, – после чего они преспокойно ограбили почту; сам вельможный властитель города Лондона, лорд-мэр, подвергся нападению на Тернемском лугу, какой-то разбойник остановил его и на глазах у всей свиты обобрал дочиста его сиятельную особу; узники в лондонских тюрьмах вступали в драку со своими тюремщиками и блюстители закона усмиряли их картечью; на приемах во дворце воры срезали у благородных лордов усыпанные бриллиантами кресты; в приходе Сент-Джайлса солдаты врывались в лачуги в поисках контрабанды, из толпы в солдат летели пули, солдаты стреляли в толпу, – и никто этому не удивлялся. В этой повседневной суতোлке беспрестанно требовался палач, и хоть он работал не покладая рук, толку от этого было мало; то вздергивал он рядами партии осужденных преступников, то под конец недели, в субботу, вешал попавшегося во вторник громилу, то клеймил дюжинами заключенных Ньюгетской тюрьмы, то перед входом в Вестминстер жег на костре кучи памфлетов; нынче он казнит гнусного злодея, а завтра несчастного воришку, стянувшего медяк у деревенского батрака.

Все эти происшествия и тысячи им подобных, повторяясь изо дня в день, знаменовали собой дивный благословенный год от Рождества Христова 1775-й. И меж тем как в их сомкнутом круге неслышно трудились Дровосек и Хозяин, те двое с тяжелыми челюстями и еще двое – одна некрасивая, другая прекрасная собою, шествовали с превеликой пышностью, уверенные в своих божественных правах. Так сей 1775-й год вел предначертанными путями и этих Владык и несметное множество ничтожных смертных, к числу коих принадлежат и те, о ком повествует паша летопись.

## Глава II

### На почтовых

В пятницу поздно вечером в самом конце ноября перед первым из действующих лиц, о коих пойдет речь в нашей повести, круто поднималась вверх дуврская проезжая дорога. Дороги ему, собственно, не было видно, ибо перед глазами у него медленно тащилась, взбираясь на Стрелковую гору, дуврская почтовая карета. Хлюпая по топкой грязи, он шагал рядом с каретой вверх по косогору, как и все остальные пассажиры, не потому, что ему захотелось пройтись, вряд ли такая прогулка могла доставить удовольствие, но потому, что и косогор, и упряжь, и грязь, и карета – все это было до того обременительно, что лошади уже три раза останавливались, а однажды, взбунтовавшись, потащили карету куда-то вбок, поперек дороги, с явным намерением отвезти ее обратно в Блэкхиз. Но тут вожжи и кнут, кондуктор и кучер, все сразу принялись внушать бедным клячам некий параграф воинского устава, дабы пресечь их бунтарские намерения, кои вполне могли бы служить доказательством того, что иные бессловесные твари наделены разумом: лошадки мигом смирились и вернулись к своим обязанностям.

Понутив головы, взмахивая хвостами, они снова поплелись по дороге, спотыкаясь на каждом шагу, и с такими усилиями выбираясь из вязкой грязи, что при каждом рывке казалось – они вот-вот развалятся на части. Всякий раз, как кучер, дав им передохнуть, тихонько покрикивал «н-но-но двигай!» – коренная из задней пары отчаянно мотала головой и всем, что на нее было нацеплено, и при этом с такой необыкновенной выразительностью, как если бы она всеми силами давала понять, что втащить карету на гору нет никакой

возможности. И всякий раз, как коренная поднимала этот шум, пассажир, шагавший рядом, сильно вздрагивал, словно это был чрезвычайно нервный человек и его что-то очень тревожило.

Все ложбины кругом были затянуты туманом, он стлался по склонам, ощупью пробираясь вверх, словно неприкаянный дух, нигде не находящий приюта. Липкая, пронизывающая мгла медленно расползлась в воздухе, поднимаясь с земли слой за слоем, словно волны какого-то тлетворного моря. Туман был такой густой, что за ним ничего не было видно, и свет фонарей почтовой кареты освещал только самые фонари да два-три ярда дороги, а пар, валивший от лошадей, так быстро поглощался туманом, что казалось – от них-то и исходит вся эта белесая мгла.

Еще двое пассажиров, кроме уже описанного нами, с трудом тащились в гору рядом с почтовой каретой. Все трое были в высоких сапогах, все трое закутаны по уши. Ни один из троих не мог бы сказать, каков на вид тот или другой из его спутников; и каждый из них старался укрыться не только от телесного, но и от духовного ока обоих других. В те времена путешественники избегали вступать в разговоры с незнакомыми людьми, ибо на большой дороге всякий мог оказаться грабителем или быть в сговоре с разбойничьей шайкой. Да и как же тут не опасаться: на каждом почтовом дворе, в каждой придорожной харчевне у предводителя шайки имелся свой человек на жалованье – либо сам хозяин, либо какой-нибудь неприметный малый на конюшне.

Так рассуждал сам с собой кондуктор дуврского дилижанса в тот поздний час, в пятницу, в конце ноября тысяча семьсот семьдесят пятого года, стоя на своей подножке позади кареты медленно взбиравшейся на Стрелковую гору; постукивая ногой об ногу, он держался рукой за стоявший перед ним ящик с оружием, с которого он не спускал глаз; на самом верху ящика лежал заряженный мушкет, под ним семь заряженных седельных пистолетов, а на дне навалом целая куча тесаков.

Дуврский почтовый дилижанс пребывал в своем обычном, естественном для него состоянии, а именно: кондуктор с опаской поглядывал на седоков, седоки опасались друг друга и кондуктора; каждый из них подозревал всех и каждого, а кучер не сомневался только в своих лошадях, ибо тут он мог с чистой совестью поклясться на Ветхом и Новом завете, что эти клячи для такого путешествия непригодны.

– Нно-но! – крикнул кучер. – Ну-ка, еще раз понатужимся, только бы наверх вылезти, и черт вас возьми совсем, пропади вы пропадом! Замучился я с вами, окаянные!.. Эй, Джо!

– Чего? – откликнулся кондуктор.

– Который теперь час по-твоему? А, Джо?

– Да уж верно больше одиннадцати... минут десять двенадцатого будет.

– Тьфу, пропасть! – воскликнул с досадой кучер. – А мы все еще не одолели Стрелковую гору! Но! Но! Пошли! Давай! Но, говорят вам!

Красноречивую лошадь, которая, решительно отказываясь тащить карету, отчаянно мотала головой, огрели кнутом, после чего она столь же решительно рванула вперед и три остальные покорно последовали за ней. И дуврская почтовая карета снова поползла в гору, и сапоги пассажиров рядом с ней снова захлюпали по грязи. Когда карета останавливалась, они тоже останавливались, а как только она трогалась с места, они старались не отставать от нее ни на шаг. Если бы кто-нибудь из троих осмелился предложить кому-либо из своих спутников пройти хоть немножко вперед, – туда, в темноту, в туман, – его, вероятно, тут же пристрелили бы, как разбойника.

Последним рывком лошади втащили карету на вершину горы. Здесь они стали, еле переводя дух, кондуктор прыгнул со своей подножки, затормозил колесо перед спуском под гору, потом отворил дверцу кареты, чтобы впустить пассажиров.

– Тсс!.. Джо! – опасно окликнул его кучер, глядя куда-то вниз с высоты своих козел.

– Ты что, Том?

Оба прислушались.

– По-моему, кто-то трусит в гору, а, Джо?

– А по-моему, кто-то мчится во весь опор, Том! – ответил кондуктор и, бросив дверцу, проворно вскочил на свое место. – Джентльмены! Именем короля! Все как один!

С этим поспешным заклинанием он взвел курок своего мушкета и приготовился защищаться.

Пассажир, который занимает немалое место в нашем повествовании, уже ступил на подножку и нагнулся, чтобы войти в карету, а двое других стояли рядом внизу, готовясь последовать за ним. Он так и остался стоять на подножке, втиснувшись одним боком в карету, а те двое стояли, не двигаясь, внизу. Все они переводили глаза с кучера на кондуктора, с кондуктора на кучера и прислушивались. Кучер, обернувшись, смотрел назад; и кондуктор глядел назад, и даже красноречивая коренная, повернув голову и насторожив уши, смотрела назад, не вступая ни в какие пререкания.

Тишина, наступившая, как только прекратился грохот кареты, слилась с тишиной ночи, и сразу стало так тихо, точно все кругом замерло. От тяжелого дыханья лошадей карета чуть-чуть содрогалась, будто ее трясло от страха. Сердца пассажиров стучали так громко, что, наверно, можно было расслышать этот стук. Словом, это была та настороженная тишина, от которой звенит в ушах, когда стараются затаить дыханье и дышат прерывисто, часто, прислушиваются к каждому звуку, и сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Топот копыт мчащейся во весь опор лошади раздавался уже совсем близко.

– О-го-го! – заорал кондуктор, как только мог громче и отчетливей. – Эй! Кто там? Стрелять буду!

Топот внезапно прекратился. Лошадь захлюпала по жидкой грязи, и откуда-то из тумана раздался голос:

– Это что? Дуврская почта?

– А тебе что за дело? – огрызнулся кондуктор. – Кто ты такой?

– Так это Дуврская почта?

– А тебе зачем знать?

– Мне один пассажир нужен, который там.

– Какой пассажир?

– Мистер Джарвис Лорри.

Знакомый нам пассажир тотчас же отозвался, услышав это имя. Кондуктор, кучер и оба других пассажира смотрели на него с недоверием.

– Стой на месте! – гаркнул кондуктор голосу из тумана. – А то как бы мне не ошибиться, и тогда прости-прощай! – пули назад не воротишь! Джентльмен, называющий себя Лорри, отвечайте ему.

– В чем дело? – спросил пассажир слегка прерывающимся голосом. – Кто меня спрашивает? Это вы, Джерри?

– Не нравятся мне голос этого Джерри, ежели он взаправду Джерри, – пробормотал себе под нос кондуктор, – с чего это он так осип, этот Джерри?

– Я самый, мистер Лорри.

– А что случилось?

– Деша вам. Вот меня и послали вдогонку, Теллсон и компания.

– Я знаю нарочного, кондуктор, – сказал мистер Лорри, сходя с подножки, в чем ему не столько услужливо, сколько поспешно помогли стоявшие рядом пассажиры, после чего они, один за другим, втиснулись в карету, захлопнули дверцу и подняли окошко. – Пусть подъедет, можете не опасаться.

– Надо бы полагать, да кто его знает! Попробуй, поручись за него, – проворчал кондуктор. – Эй, ты там!

– Это вы меня, что ли? – откликнулся Джерри еще более хриплым голосом.

– Шагом подъезжай, слышишь, что я говорю? А ежели у тебя кобуры при седле, держи руки подальше, а то вдруг мне что померещится, выпалю невзначай, вот тебе и вся недолга!.. А ну, покажись, что ты за птица.

Фигуры лошади и всадника выступили из клубящегося тумана и медленно приблизились к карете с той стороны, где стоял пассажир. Всадник остановил коня и, косясь на кондуктора, протянул пассажиру сложенную вчетверо бумажку. Конь был весь в мыле, и оба – и конь и всадник – были с ног до головы покрыты грязью.

– Кондуктор! – промолвил пассажир спокойным, деловым и вместе с тем доверительным тоном.

Кондуктор – все так же настороже, зажав правой рукой ствол приподнятого мушкета, а левую держа на курке и не спуская глаз со всадника, ответил коротко:

– Сэр?

– Можете не опасаться. Я служу в банкирской конторе Теллсона – вы, конечно, знаете банк Теллсона в Лондоне? Я еду в Париж по делам. Вот вам крона на чай. Могу я прочесть депешу?

– Ну, ежели так, читайте скорей, сэр.

Тот развернул депешу и при свете каретного фонаря прочел сперва про себя, а потом вслух: «В Дувре подождите мадемуазель...»

– Ну, вот и готово, кондуктор. Джерри, передайте мой ответ: «Возвращен к жизни».

Джерри подскочил в седле.

– Чертовски непонятный ответ, – промолвил он совершенно осипшим голосом.

– Так и передайте. Там поймут, что я получил записку, все равно как если бы я расписался. Ну, желаю вам поскорей добраться. Прощайте.

И с этими словами пассажир открыл дверцу и поднялся в карету. На сей раз его дорожные спутники и не подумали прийти ему на помощь; за это время они успели припрятать свои часы и кошельки, засунув их в сапоги, и теперь оба прикинулись спящими. При этом они руководились только одним соображением: как бы чего не вышло.

Карета снова загромыхала в темноте, и клочья тумана, сгущаясь, окутывали ее по мере того, как она спускалась вниз по склону.

Кондуктор уложил свой мушкет в оружейный ящик, проверил, все ли на месте, потом осмотрел запасные пистолеты у себя за поясом, а заодно и небольшой сундучок под сиденьем, где хранились кое-какие инструменты, два факела и коробочек с трuтом. Все это было припасено у него на тот случай, если в сильную непогоду задует ветром фонари, – а это случалось не раз, – тогда ему нужно было только примоститься внутри дилижанса, закрывшись хорошенько от ветра и поглядывая, чтобы искры не залетели в солому на полу, пустить в ход кремень и огниво, при помощи чего за какие-нибудь пять минут (если повезет) можно высечь огонь.

– Том! – тихонько окликнул он кучера поверх кареты.

– Чего тебе, Джо?

– Ты слышал его ответ нарочному?

– Слышал, Джо.

– А что это, по-твоему, значит, Том?

– Да ровно ничего, Джо.

– Надо же такое совпадение, – подивился про себя кондуктор, – ну, как есть то же самое и я подумал.

Между тем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, сошел с коня – и не только за тем, чтобы дать отдых выбившемуся из сил животному, но и чтобы самому стереть грязь с лица и отряхнуть свою шляпу, на полях которой

набралось примерно с полгаллона воды. Потом, намотав поводья на руку, забрызганную грязью до самого плеча, он постоял и, дождавшись, когда колеса дилижанса затихли вдали и кругом снова наступила тишина, зашагал вниз с холма.

– После такой скачки от самого Тэмпл-Бара я не поручусь за твои передние ноги, старуха, покуда мы не выйдем с тобой на ровное место, – прохрипел он, оглядывая свою кобылу. – «Возвращен к жизни»... Ну и ну! Вот так ответ! А ежели оно и впрямь так бывает, пропало твое дело, Джерри! Да, есть над чем задуматься, Джерри. Черт знает, чем это для тебя кончится, ежели у нас теперь в обычай войдет – покойников воскрешать!

### Глава III

#### Тени ночные

Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью.

Милая книга, которая меня так пленила, не откроет мне больше своих страниц, и напрасно я льщу себя надеждой прочитать ее когда-нибудь до конца. Никогда больше не проникнет мой взор в бездонную глубину этих вод, которая лишь на миг открылась мне, пронизанная солнечным светом, и в блеске лучей мелькнули предо мной погребенные в ней сокровища. Так было предначертано, чтобы эта книга внезапно захлопнулась раз и навсегда, а я только успел прочесть в ней одну-единственную страницу. Так было предначертано, чтобы эта водная гладь, внезапно озаренная солнечным светом, покрылась льдом, в то время как я стоял, ничего не подозревая, на берегу. Мой друг умер, умер мой сосед, радость сердца моего, возлюбленная моя умерла, – и вот уже навсегда скреплена и запечатлена нерушимо эта тайна, которую носит в себе каждый из нас, и я ношу и буду

носить до скончания дней. Но разве спящие на кладбище этого города, через который я проезжаю, представляют собой большую загадку, нежели его бодрствующие жители, души коих скрыты от меня так же, как и моя от них.

Сей непостижимой особенностью, заложенной в человеке природой и неотъемлемой от него, был наделен и верховой гонец, в не меньшей мере, нежели сам король, или его первый министр, или богатейший лондонский купец. Точно так же и трое пассажиров, прикорнувших бок о бок в наглухо закрытом кузове старого разбитого дилижанса, – каждый из них представлял собой полнейшую тайну для другого, и все они были до такой степени недоступны друг другу, как если бы каждый ехал в своей собственной карете шестериком – и даже шестидесятериком – и все земли графства отделяли бы его от других.

Гонец ехал обратно не торопясь, частенько останавливался у придорожных харчевен промочить горло; однако он не обнаруживал склонности вступать в разговоры и даже надвигал шляпу пониже на глаза; а глаза у него были под стать головному убору, – такого же черного цвета, тусклые, лишенные глубины, и сидели они так близко один к другому, точно побаивались, как бы их не изловили поодиночке, если они отодвинутся друг от друга чуть подальше. Они мрачно поглядывали из-под старой треуголки, напоминавшей треугольную плевательницу, и поверх толстого шейного платка, обмотанного вокруг подбородка и горла и спускавшегося чуть ли не до колен. Останавливаясь промочить глотку, гонец высвобождал подбородок, придерживая платок левой рукой, пока правой вливал в себя жидкость, а потом снова поднимал его до ушей.

– Нет, Джерри, нет! Это, брат, совсем неподходящее дело, – рассуждал он сам с собой всю дорогу, поглощенный, по-видимому, какой-то одной неотвязной мыслью. – Куда же это годится при нашем с тобой честном промысле... «Возвращен к жизни!» Тьфу, дьявольщина, это он, должно быть, спьяну сболтнул!

Ответ, который ему поручили передать, по-видимому, вызвал у него такое смятение в мозгах, что он то и дело хватался за шляпу, чтобы поскрести в затылке. Голова его, за исключением совершенно голой макушки, была сплошь покрыта жесткими черными волосами, торчащими во все стороны, точно проволока, и начинавшими расти чуть ли не от самого основания его толстого приплюснутого носа. Похоже было, что волосы ему изготовили в кузнице, до того они напоминали утыканную остриями ограду; даже самый ловкий прыгун не

решился бы играть с ним в чехарду; ибо прыгать через такой частокол показалось бы ему крайне рискованным.

Между тем как гонец ехал неторопливой рысцой, твердя про себя устный ответ, который он должен был передать ночному сторожу, караулившему в будке у ворот банка Теллсона близ Тэмпл-Бара, с тем чтобы тот передал его высшему начальству в конторе, ночные тени, сгущаясь кругом, принимали очертания призраков, вырастающих из этого загадочного ответа, а для его кобылы они принимали очертания чего-то выраставшего из ее собственных страхов. И, должно быть, их было такое множество, что она то и дело шарахалась в сторону от каждого придорожного куста.

А почтовая карета между тем громыкала, покачиваясь, подсакивая и дребезжа, и продолжала свой унылый путь с тремя взаимонепроницаемыми седоками в наглухо закрытом кузове. И перед ними тоже клубились ночные тени, облакаясь в причудливые виденья, которые вставали пред их смежающимися очами или мерещились им в полусне. Банк Теллсона играл немалую роль в этих виденьях. Пассажир – служащий этого банка – сидел, просунув руку в ремни своего саквояжа, который, при сильных толчках, не позволял ему наваливаться всем телом на соседа, а удерживал его на месте; он дремал, полузакрыв глаза, и передние оконца кареты, и тускло поблескивавший в них свет фонаря, и бесформенная закутанная фигура сидящего напротив пассажира – все это вдруг превращалось в банкирскую контору с кипучей деловой жизнью. Конская сбруя побрякивала, как звонкая монета, которой – за какие-нибудь пять минут – выплачивались по чекам такие суммы, каких банку Теллсона, при всей его заграничной и отечественной клиентуре, вряд ли случалось выплачивать даже и за четверть часа: глазам его открывались подвалы банка со всеми запечатанными в сейфах сокровищами и тайнами, о которых нашему пассажиру было кое-что известно (а ему было многое известно), и он ходил по этим подвалам, позвякивая громадными ключами, держа в руке еле мерцавшую свечу, и убеждался, что все заперто прочно, надежно, все цело и неприкосновенно, как было, когда он приходил сюда в последний раз.

Но хотя банк неизменно присутствовал во всех его виденьях и почтовая карета (словно смутное ощущение боли, заглушенной усыпляющим средством) тоже присутствовала в них, – что-то еще другое вклинивалось в эти видения и неотступно преследовало его всю ночь. Он едет откапывать кого-то из могилы.

Какое лицо в бесконечной веренице лиц, мелькавших в сновиденьях пассажира, было подлинным лицом того самого погребенного человека, – ночные тени не открыли ему; но все они были почти что на одно лицо, – лицо сорокапятилетнего человека, – и различались главным образом чувствами, которые были на них написаны, да большей или меньшей мертвенностью болезненно изможденных черт. Гордость, презрение, вызов, упрямство, смирение, мольба – вот чувства, которые, сменяясь одно другим, изменяли это лицо; изменяли и впалые щеки, и кожу землистого цвета, и иссохшие руки, и весь этот жалкий облик. Но, в сущности, это все время было одно и то же лицо, оно появлялось снова и снова, и голова всякий раз была преждевременно седая. И в сотый раз дремлющий пассажир обращался к призраку с одним и тем же вопросом:

– Вас давно похоронили?

И ответ был всегда один и тот же:

– Почти восемнадцать лет тому назад.

– И вы уже потеряли надежду, что вас когда-нибудь откопают?

– Давным-давно.

– А вы знаете, что вы возвращены к жизни?

– Да, мне говорили.

– Я думаю, вам хочется жить?

– Не знаю, не могу сказать.

– Хотите, я вам покажу ее? Пойдемте со мной, и вы увидите ее.

На этот вопрос ответы были разные, не вяжущиеся один с другим. Иногда прерывающийся голос шептал:

– Подождите!.. Мне, сейчас, увидеть ее!.. Нет, этого я не перенесу!..

А иногда, заливаясь слезами умиления, призрак шептал:

- Да, да, отведите меня к ней!

Или же, тупо уставившись куда-то в пространство, он растерянно твердил:

- Я не знаю, кто она такая. Я не понимаю.

И вслед за этим воображаемым разговором пассажир во сне начинал копать – копать – копать, то заступом, то огромным ключом, то просто руками, изо всех сил стараясь откопать это несчастное существо. И вот, наконец, он поднимает его – сырые комья земли пристали к лицу, к волосам, – и вдруг... оно рассыпается в прах! Пассажир вздрагивал, озирался и спешил опустить оконное стекло, чтобы прийти в себя и почувствовать на щеках не во сне, а наяву настоящую сырость тумана и дождя.

Но даже когда глаза его были открыты и он видел дождь, и туман, и бегущий вперед светлый круг от фонаря, и рывками отступающую назад изгородь на краю дороги, ночные тени, мелькавшие за окном кареты, постепенно принимали очертания тех же теней, что преследовали его в карете. Все было точь-в-точь, как в действительности: и банкирская контора близ Тэмпл-Бара, и масса дел, с которыми он возился накануне, и нарочный, которого послали ему вдогонку, и ответ, с которым он отправил его обратно. И внезапно из всего этого снова выплывало лицо призрака, и он снова обращался к нему с теми же вопросами:

- Вас давно похоронили?

- Почти восемнадцать лет тому назад.

- Я думаю, вам хочется жить?

- Не знаю, не могу сказать.

И опять он принимается копать – копать – копать – пока, наконец, нетерпеливое ерзанье одного из спутников не заставляет его очнуться, закрыть окно; и он, просунув руку под ремень саквояжа, откидывается на сиденье, уставясь на две закутанные спящие фигуры; а затем мысли его снова начинают путаться,

фигуры спутников исчезают из глаз и на их месте снова появляется банк и могила.

– Вас давно похоронили?

– Почти восемнадцать лет тому назад.

– Вы уже потеряли надежду, что вас когда-нибудь откопают?

– Давным-давно.

Эти слова все еще звучали у него в ушах, и так явственно, как если бы он их только что слышал, может быть даже отчетливей, чем наяву, но тут усталый пассажир вздрогнул, очнулся и увидел, что кругом светло и ночные тени исчезли.

Он опустил стекло и выглянул наружу: на солнце, всходившее на горизонте, на вспаханное поле с плугом на борозде, так и оставшимся еще с вечера после того, как из него выпрягли лошадей; а по ту сторону пашни виднелась мирная рощица, и кое-где на деревьях еще красовалась огненно-красная и червонно-желтая листва. Хотя земля была мокрая и холодная, небо очистилось и лучезарное солнце вставало, безмятежное, ясное.

– Восемнадцать лет! – промолвил пассажир, глядя на разгорающийся солнечный свет. – Боже милостивый! Светодатель! Восемнадцать лет быть погребенным заживо!

## Глава IV

### Предварительный разговор

Незадолго до полудня почтовый дилижанс благополучно прибыл в Дувр, и старший лакей гостиницы «Короля Георга», по своему обыкновению, собственноручно открыл дверцу кареты. Он проделал это с некоторою торжественностью, потому что совершить путешествие из Лондона почтовым

дилижансом зимой было своего рода подвигом, с коим следовало поздравить отважного путешественника.

Сейчас налицо остался только один отважный путешественник, единственный, кого поздравляли с прибытием, ибо остальные двое, достигнув места назначения, сошли раньше. Отсыревший за ночь кузов кареты с грязной, слежавшейся соломой, спертым воздухом и царившей здесь полутьмой, сильно напоминал большую собачью конуру. Пассажир, мистер Лорри, который вылез оттуда, отряхиваясь от приставшей к нему соломы, весь закутанный в мохнатый плед, в надвинутой на уши шляпе с обвисшими полями и в грязных сапогах, сам сильно напоминал большую собаку.

- Ожидается завтра пакетбот в Кале, любезный?

- Так точно, сэр, если погода удержится и ветер будет попутный. Оно как раз в это время - в два пополудни отлив начинается. К нему и подгадывают. Прикажете постель, сэр?

- Нет, я до ночи не лягу. Но спальный номер оставьте за мной. И цирюльника пришлите.

- А завтрак попозже, сэр? Слушаюсь, сэр. Пожалуйста-с сюда, сэр... Проводить джентльмена в «Конкордию»! Чемодан джентльмена и горячей воды в «Конкордию»! Снять сапоги у джентльмена в «Конкордии». Камин топится на славу, можете сами убедиться, сэр. Цирюльника живо в «Конкордию»! Ну, шевелись, не зевай, вы там, в «Конкордию»!

Спальный номер, именовавшийся «Конкордией», был предназначен для пассажиров почтового дилижанса, а так как пассажиры почтового дилижанса всегда приезжали закутанные с головы до ног, «Конкордия» в гостинице «Короля Георга» представляла особый интерес для всего почтенного заведения, ибо в нее всякий раз водворялась как бы одна и та же неизменная с виду фигура, тогда как джентльмены, появлявшиеся из нее, были самого разнообразного обличья. Вот почему второй лакей, двое коридорных, несколько горничных и сама хозяйка, - все они случайно оказались в разных концах коридора, соединяющего «Конкордию» с буфетом, и как раз в ту минуту, когда солидный джентльмен лет шестидесяти, в поношенной, но еще вполне приличной коричневой паре с широкими квадратными обшлагами и такими же

отворотами у карманов – прошествовал по этому коридору завтракать.

Кроме джентльмена в коричневом, в буфете в это утро никого посетителей не было. Ему накрыли столик против камина; он сел поближе к огню, и дожидаясь, когда ему подадут, сидел совершенно неподвижно, словно позировал для портрета.

Он сидел, слегка наклонившись, опершись руками на колени, такой положительный и степенный, а карманные часы громко тикали под широким отворотом в кармане его жилета, словно назидательно противопоставляя свою солидность и долговечность эфемерности и непостоянству весело потрескивающего огня. У него были стройные ноги, и он немного щеголял ими, судя по туго натянутым тонким коричневым чулкам и простым, но изящным башмакам с пряжками. Маленький, смешной, аккуратно приглаженный, белокурый завитой парик, очень плотно прилегавший к голове, надо полагать, был сделан из волос, хотя казалось, будто он то ли шелковый, то ли стеклянный. Белье на джентльмене не отличалось такой тонкостью, как его чулки, но зато белизной оно могло поспорить с пеной морских волн, разбивающихся о берег, или белыми пятнышками парусов, сверкающих на солнце.

Лицо джентльмена хранило привычное для него выражение замкнутости и невозмутимости, но иногда оно вдруг озарялось влажным блеском живых глаз, сверкавших из-под смешного паричка; обладателю этих глаз, должно быть, в свое время стоило немалых усилий приучить их к той сдержанности и непроницаемости, кои приличествуют служащим банкирского дома Телсона. У него был здоровый цвет лица, и хотя чело его было изрезано морщинами, оно не носило никаких следов житейских волнений, – может быть потому, что оставшиеся холостяками старые доверенные служащие банкирского дома Телсона были главным образом обременены чужими заботами, а чужие заботы, как платье с чужого плеча, и носить покойно и бросить не жалко.

В довершение сходства с человеком, позирующим для портрета, мистер Лорри задремал. Он проснулся, когда ему принесли завтрак, пододвинул стул поближе к столу и сказал слуге:

– Я попрошу вас приготовить номер для молодой леди, которая должна приехать сегодня. Она спросит мистера Джарвиса Лорри, или джентльмена из банка Телсона. Вы тотчас же дадите мне знать.

– Слушаюсь, сэр. Банк Теллсона в Лондоне, сэр?

– Да!

– Слушаюсь, сэр. Нам часто выпадает честь принимать у себя ваших джентльменов, разъезжающих между Лондоном и Парижем. От банкирской конторы Теллсона и компании очень многие ездят туда и сюда.

– Да, наша банкирская фирма – она и французская и английская.

– Вот именно, сэр. Но вы сами, должно быть, не так часто изволите путешествовать, сэр?

– Все эти годы нет. Последний раз мы, то есть я, был во Франции пятнадцать лет тому назад.

– Вот как, сэр? Значит, еще до меня. Не при нынешних хозяевах, сэр. В то время «Королем Георгом» кто-то другой владел.

– Возможно.

– Но я, сэр, готов побиться об заклад, что банкирская фирма Теллсона и компания процветала и здравствовала не то что пятнадцать, а и пятьдесят лет тому назад.

– Можете утроить цифру: скажите сто пятьдесят, – Это будет ближе к истине.

– В самом деле, сэр?

Открыв рот, выкатив глаза, слуга отступил на шаг от стола, затем перекинул салфетку с правой руки на левую, стал поудобнее и все время, пока постоялец ел и пил, не сводил с него глаз, наблюдая за ним, словно дозорный на посту или на сторожевой вышке. Так уж оно ведется во всех ресторанах с незапамятных времен.

Позавтракав, мистер Лорри вышел прогуляться по берегу. Крохотный, узенький, кургузый городок Дувр старался укрыться от моря и словно морской страус

прятал голову в меловые утесы. Берег был пустыней, где бесновалось море, взметая груды камней; море здесь вытворяло что хотело, а ему хотелось разрушать. Оно бросалось на скалы, бросалось на город и в бешенстве крушило все на берегу. Воздух возле домов был пропитан таким резким запахом рыбы, что можно было подумать, не вылезает ли сюда из воды больная рыба лечиться воздушными ваннами, вроде того как больные люди лезут в воду лечиться морскими купаньями. В гавани рыбачили мало, но множество народу толклось на берегу по ночам и глазело на море, в особенности в те часы, когда море наступало на сушу во время прилива. Мелкие лавочки, еле-еле сводившие концы с концами, вдруг за один день каким-то непостижимым образом становились богачами; и – удивительное дело! – почему-то в здешних краях терпеть не могли фонарщиков.

По мере того как близились сумерки и воздух, который днем был чист и прозрачен, так что по временам можно было различить берег Франции, снова набух туманом и сыростью, думы мистера Лорри, казалось, тоже принимали все более и более сумрачный характер. Когда совсем стемнело, он пришел в буфет и уселся за столик перед камином, дожидаясь, когда ему подадут обед, так же, как он дожидался завтрака, и тут воображение его снова принялось копать – копать – раскапывать тлеющие угли.

Бутылка доброго кларета после обеда не повредит человеку, который копается в тлеющих углях, разве что – отшибет у него охоту копать. Мистер Лорри уже довольно долго пребывал в полном бездействии; он только что налил себе последний стакан, и на лице его выражалось чувство полного удовлетворения, какое, естественно, испытывает пожилой джентльмен цветущего вида, отставляя приконченную им бутылку, но в это время на узенькой улочке, круто поднимавшейся вверх, застучали колеса и дорожная карета с грохотом въехала во двор.

Мистер Лорри поставил на стол свой стакан, так и не притронувшись к нему: «Это мадемуазель!» – промолвил он.

Через несколько минут явился лакей и доложил, что мисс Манетт приехала из Лондона и изъявляет желание немедленно увидеться с джентльменом от Теллсона.

– Как? Сейчас?

– Мисс Манетт подкрепилась дорогой и не будет сейчас кушать. Она настоятельно просит джентльмена от Теллсона, если это возможно и удобно, пожаловать к ней сию минуту.

Джентльмен от Теллсона, видя, что деваться некуда, с угрюмой решимостью залпом осушил последний стакан и, надвинув на уши свой маленький белокурый паричок, последовал за лакеем в номер мисс Манетт.

Это была большая темная комната, которая, словно контора похоронных дел мастера, вся была заставлена черной мягкой мебелью и громадными темными столами. Все это изо дня в день протирали масляной тряпкой и, должно быть, так тщательно, что две свечи на столе, стоявшем посреди комнаты, тускло мерцали, отражаясь в каждой поверхности, как если бы они-то и были погребены в глубине потемневшего красного дерева, и до тех пор, пока их не откопают, нечего и ждать от них настоящего света.

В этой темноте так трудно было что-нибудь разглядеть, что мистер Лорри, осторожно ступая по истертому турецкому ковру, подумал было, что мисс Манетт, наверно, в соседней комнате, но, проходя мимо зажженных свечей, он вдруг увидел, что между столом и камином стоит молоденькая девушка, лет семнадцати, не больше, она, по-видимому, ждала его и даже не успела еще снять дорожный плащ и положить соломенную шляпку, которую держала в руках за концы лент.

Взгляд его остановился на маленькой хрупкой фигурке и прелестном личике в ореоле пышных золотистых волос; синие глаза пытливо смотрели на него из-под ясного чела, обладавшего удивительной способностью (принимая во внимание его юность и гладкость) отражали каким-то неуловимым движением чувство смущения или удивления, тревоги или чуткого живого внимания, или, быть может, все сразу вместе, – он смотрел на нее, и перед ним вдруг с необыкновенной ясностью возник образ малютки, которую он держал на руках во время переезда через этот самый пролив в бурную ненастную ночь, когда волны бушевали кругом, а с неба сыпался град. Это видение мелькнуло и мигом исчезло, точно след от дыхания на поверхности высокого тусклого зеркала, висевшего за спиной девушки в большой черной раме, на которой, словно процессия увечных из инвалидного дома, черные купидоны – одни без головы, другие без ног – все до единого калеки – подносили черные корзины с обугленными плодами каким-то черным божествам женского пола, – и мистер Лорри, отвесив церемонный поклон, поздоровался с мисс Манетт.

– Прошу вас, садитесь, сэра, – произнес чистый, прелестный юный голос с легким, почти незаметным иностранным акцентом.

– Целую ваши ручки, мисс, – со старинной галантностью отвечив мистер Лорри и, еще раз церемонно поклонившись, опустился на стул.

– Вчера, сэра, я получила письмо из банка, там сообщается, что получены какие-то сведения... или обнаружено что-то новое...

– Можно и так сказать, мисс, неважно, не в словах дело.

– ...касательно небольшого состояния моего бедного отца... я ведь его даже никогда и не видела... он очень давно умер...

Мистер Лорри беспокойно заерзал на стуле и в замешательстве уставился на черную процессию увечных купидонов, – уж не у них ли, в их дурацких корзинках, надеялся он обрести какую-то помощь?

– ...и что в связи с этим мне надо поехать в Париж и повидаться там с одним джентльменом из банкирской конторы, который был так добр, что согласился ради этого поехать туда сам.

– Я к вашим услугам, мисс.

– Я так и думала, сэра.

И она присела перед ним в реверансе (в те дни юные леди еще делали реверансы), словно трогательно признавая, что она понимает, насколько он и старше, и опытнее, и умнее ее. Мистер Лорри встал и поклонился еще раз.

– И я, сэра, написала им в банк, что, если люди, которые понимают в таких делах и не оставляют меня своими советами, считают необходимым, чтобы я поехала во Францию, то я, конечно, поеду, но только я круглая сирота и у меня нет никого друзей, кто мог бы проводить меня, и я была бы чрезвычайно признательна, если бы мне на время путешествия можно было заручиться покровительством этого достойного джентльмена. Джентльмен этот уже выехал из Лондона, но они, как я понимаю, послали ему вслед нарочного и попросили

его сделать мне такое одолжение и подождать меня здесь.

– Я счастлив, что мне оказали такое доверие, – отвечал мистер Лорри, – и буду еще более счастлив, если оправдаю его.

– Очень вам благодарна, сэр! Ото всей души! В том письме из банка мне написали еще, что этот джентльмен познакомит меня подробно с моими делами и что мне надо быть готовой услышать нечто неожиданное. Я очень старалась подготовиться, но вы конечно понимаете, что я просто горю от нетерпения узнать, что это такое.

– Естественно! – согласился мистер Лорри. – Конечно... я...

Он помолчал и добавил, снова поправляя свой светлый гладкий парик:

– Я только затрудняюсь... Не знаю, как приступить...

Он так и не приступил и, поглядывая на нее в нерешительности, встретился с ней взглядом. Брови на ясном челе чуть-чуть приподнялись с тем особенным и таким характерным для нее милым подкупающим выражением, и вдруг, словно пытаясь удержать какое-то мелькнувшее воспоминание, она быстро подняла руку.

– Мы с вами никогда не виделись, сэр?

– А разве виделись? – И мистер Лорри с недоуменной улыбкой развел руками.

Выразительная морщинка между бровями над тонкой безупречной линией маленького точеного носика залегла глубже, и мисс Манетт в раздумье опустила в стоявшее рядом кресло. Он смотрел на ее задумчивое личико, но, как только она подняла глаза, снова заговорил:

– В этой стране, которая стала для вас второй отчизной, я думаю, вы позволите мне обращаться к вам, как у нас принято обращаться к юным леди, не правда ли, мисс Манетт?

– Будьте добры, сэр.

– Мисс Манетт, я человек деловой. Я должен сделать то дело, которое мне поручили. Поэтому я буду просить вас отнестись к тому, что я буду говорить, как если бы меня тут и не было; перед вами говорящая машина, – да так оно, в сущности, и есть. Так вот, с вашего разрешения, мисс, я расскажу вам историю одного нашего клиента.

– Историю!..

Он, видимо, умышленно пропустил мимо ушей слово, которое у нее вырвалось, и повторил поспешно:

– Да, нашего клиента... так в нашем банковском деле мы называем людей, с которыми состоим в деловых отношениях. Этот джентльмен был француз, очень образованный человек, ученый, доктор медицины...

– Из города Бове?

– Н-н-да... из Бове. Как и мосье Манетт, ваш батюшка, этот джентльмен был из города Бове. Так же, как мосье Манетт, ваш батюшка, он пользовался большой известностью в Париже. Там-то мне и выпала честь познакомиться с ним. Конечно, отношения наши были чисто делового характера, однако я пользовался его полным доверием. Я состоял в то время во французском отделении нашего банка... тому назад... д-да, уж лет двадцать!

– В то время?.. Можно мне вас спросить, сэ, о каком времени вы говорите?

– Так видите ли, мисс, я как раз и говорю о том, что имело место именно двадцать лет тому назад. Он женился на англичанке – и я был его поверенным. Все его дела, – как, впрочем, и дела многих других французских джентльменов и французских семей, – находились в ведении банкирской конторы Теллсона. Подобным же образом я и ныне состою или продолжаю состоять поверенным по имущественным и прочим делам многих наших клиентов.

Отношения эти чисто деловые, мисс, это не какие-нибудь дружеские чувства или что-нибудь вроде личного участия, ничего похожего на чувства! За мою долгую жизнь, мисс, мне приходилось вести дела то одних, то других клиентов, и это совершенно то же, как в течение дня переходишь от одного посетителя к

другому. Короче говоря, я никаких чувств не испытываю, я – просто машина. Итак, буду продолжать.

– Вы мне рассказываете историю моего отца, сэр, и мне кажется, – выразительно сдвинув брови, она пристально всматривалась в него, – что, когда я осталась сиротой – ведь мать моя пережила отца всего лишь на два года, – это вы и привезли меня тогда в Англию. Я почти уверена, что это были вы...

Мистер Лорри взял маленькую нерешительную ручку, которая доверчиво протянулась к нему, и церемонно поднес ее к губам. Засим он снова усадил юную леди в ее кресло и, нагнувшись к ней, заговорил, глядя в поднятое к нему личико и ухватившись левой рукой за спинку кресла, тогда как правой он то потирал себе подбородок, то поправлял парик, то выразительно подкреплял свои слова красноречивым жестом.

– Мисс Манетт! Да, это был я. И теперь уж вы и сами видите, что я не обманывал вас, говоря, что я человек лишенный каких бы то ни было чувств, что у меня нет ровно никаких отношений с моими клиентами, кроме чисто деловых, потому что – вы только подумайте, ведь я вас с тех пор так больше и не видел. Нет, вы с тех пор состоите под опекой банкирского дома Теллсона, тогда как я веду разные другие дела банка Теллсона. А что до чувств – да у меня для этого нет ни времени, ни возможности. Вся моя жизнь, мисс, проходит в том, что я без конца верчу ручку громадной денежной машины.

После такого своеобразного описания своих обязанностей мистер Лорри тщательно пригладил обеими руками свой светлый парик (в чем не было ни малейшей надобности, ибо он и без того сверкал безукоризненной гладкостью), а затем снова принял прежнюю позу.

– Так вот, до сих пор, мисс, эта история (как вы сами изволили заметить) совпадает с историей вашего бедного батюшки. Но продолжение у нее другое. Если бы, например, оказалось, что батюшка ваш не умер, когда его... да вы не пугайтесь!.. Ну, что это вы так вздрогнули!

Она действительно вздрогнула. И схватила его за руку обеими руками.

– Полноте! – промолвил мистер Лорри, успокаивая ее, и, отпустив спинку кресла, положил левую руку на судорожно вцепившиеся в него трепетные умоляющие

пальчики, – пожалуйста, прошу вас, успокойтесь! Это же деловой разговор. Так вот, значит, я продолжаю.

Но она смотрела на него с таким испугом, что он сбился, потерял нить и начал снова:

– Так вот, значит, как я уже сказал: представьте себе, если бы оказалось, что мосье Манетт вовсе не умер, а исчез бесследно, если бы, предположим, его куда-то упрятали, и не трудно даже догадаться, куда, в какое страшное место, хотя никакими силами и нельзя было обнаружить никаких следов; допустите, что у него среди его соотечественников оказался бы некий могущественный враг, у которого была такая особая привилегия, предоставлявшая ему страшное право – у нас о таких вещах в то время не решались и шепотом говорить, даже самые смелые люди, – право вписать любое имя на подписанном королевской рукой приказе, а это означало арест и заключение в темницу на какой угодно срок; и сколько бы жена исчезнувшего ни обращалась с мольбами и к королю, и к королеве, и к судьям, и к кардиналу, пытаясь узнать о нем хоть что-либо, все тщетно – и вот, если бы это было так, тогда история вашего батюшки была бы подлинной историей этого джентльмена, доктора из города Боне.

– Умоляю вас, сэра, умоляю, говорите дальше!

– Да, да, я скажу все. Но вы в состоянии слушать?

– Я готова выслушать все, лишь бы не эта ужасная неизвестность.

– Вы говорите спокойно, и вы... гм... вы спокойны... Вот и хорошо! Очень хорошо! (На самом деле он вовсе не был уверен, что все так хорошо.) У нас с вами, не забудьте, чисто деловой разговор. Смотрите на это, как на дело, которое нам надо сделать. Так вот, значит, если жена этого доктора – женщина необыкновенного мужества и стойкости – так настрадалась из-за этого, что, когда у нее родился ребенок...

– Ребенок, сэра, – и это была девочка?

– Девочка... да... не волнуйтесь, мисс... Помните, у нас дело... Если эта несчастная леди так настрадалась еще до того, как ребенок появился на свет, что решила избавить свое бедное дитя от этого страшного наследия, уберечь

его от тех ужасных мучений, которые ей самой пришлось претерпеть, и растить девочку, внушив ей, что отец ее умер... Но что это! – На колени?.. Господь с вами, да зачем же вам становиться передо мной на колени! Что вы!

– Скажите мне правду, о дорогой, добрый, хороший сэръ, скажите мне правду!

– Да ведь мы с вами о деле говорим!.. Вы и так меня совсем смутили... Ну как же я могу вести деловой разговор, когда я в таком смущении? Давайте рассуждать здраво... Вот, например, если бы вы сейчас сделали мне одолжение и ответили, сколько будет девять раз по девять пенсов, или, например, сколько шиллингов в двадцати гинеях, вы бы меня успокоили. Я бы за вас так не огорчился, а то видите, как вы разволновались!

Он очень бережно поднял ее и усадил в кресло, и хотя она ничего не ответила на его увещанья, но руки ее, по-прежнему сжимавшие его руку, почти перестали дрожать, и она сидела так тихо, что мистер Джарвис Лорри несколько успокоился.

– Ну, вот и отлично, вот и отлично! Мужайтесь. К делу! Ведь у нас с вами дело. Вот так, значит... ваша матушка и поступила относительно вас, мисс Манетт. А когда она умерла – я думаю, ее сразило горе, – она ведь всю жизнь не переставала тщетно разыскивать вашего батюшку... вам было всего два года, и вы росли счастливо и расцветали, избавленная от этого страшного мрака неизвестности – погиб ли ваш батюшка, отчаявшись вырваться из темницы, или томился там долгие годы.

И, говоря это, он с умилением и жалостью смотрел на ее золотые кудри, словно представляя себе, что они могли преждевременно подернуться сединой.

– Вы знаете, что у ваших родителей больших капиталов не было, а все, что было, осталось вашей матушке и нам. Ничего нового по части денег или какого-нибудь иного имущества мы не обнаружили... но... вот...

Тут он почувствовал, как она судорожно сжала его руку, и замолчал. На ее застывшем личике с углубившейся морщинкой между бровями, которая с самого начала привлекла его внимание, проступило выражение ужаса и боли.

– Но он... он отыскался... Он жив... Изменился, должно быть, страшно... одна тень от него, верно, осталась. Но будем надеяться на лучшее. Так или иначе – он жив. Его перевезли в дом его старого слуги в Париже, и мы с вами едем туда: я – чтобы опознать его, если смогу, а вы – возратить его к жизни дочерней любовью, участием, заботами, лаской.

Она задрожала всем телом, и ее дрожь передалась и ему. Тихим, но внятным голосом, в котором слышался ужас, она проговорила точно во сне:

– Я увижу призрак! Это будет призрак, а не он.

Мистер Лорри бережно поглаживал пальчики, сжимавшие его руку.

– Полноте, полноте! Успокойтесь, успокойтесь! Вы теперь все знаете – и хорошее и дурное. Вы на пути к бедному, безвинно пострадавшему джентльмену, и если море будет спокойно и мы доберемся без помех, – вы скоро будете с самым близким вам человеком.

Она отозвалась шепотом:

– Я была свободна, я была счастлива, и никогда призрак его не преследовал меня.

– Да, вот что еще, – сказал мистер Лорри внушительным тоном, надеясь, что это поможет ему завладеть ее вниманием: – его нашли под другим именем, настоящее его имя давно забыто, – либо его очень уж долго скрывали; и теперь, конечно, бессмысленно, чтобы не сказать больше, выяснять, как все это случилось: забыли о нем, и он оказался вычеркнутым из жизни на долгие годы, или его умышленно держали в темнице все это время, – всякие попытки выяснить что-либо более чем бесполезны, они крайне опасны. Лучше даже и не заикаться об этом нигде, ни при каких обстоятельствах и увезти его из Франции, по крайней мере на некоторое время. Даже я, хотя мне, как англичанину, нечего опасаться, даже банкирский дом Телсона, который пользуемся большим влиянием во Франции, ибо он предоставляет ей кредит, даже мы избегаем называть какие-либо имена, связанные с этим делом.

У меня с собой нет никаких бумаг, все, что касается этого дела, держится в строжайшем секрете. Мои полномочия, рекомендации, памятные заметки, – все

запечатлено в двух словах «Возвращен к жизни», а под этим можно подразумевать, что угодно. Но что это? Она ничего не слышит!.. Мисс Манетт! Мисс Манетт!

Безмолвная, недвижимая, она сидела в полном оцепенении, ухватившись за его руку и даже не откинувшись на спинку кресла. Глаза ее были открыты и устремлены на него, и на лице было все то же выражение ужаса, как будто вырезанное или выжженное в этой складке между бровями. Пальцы ее с такой силой впились в его руку, что он не решался разжать их, боясь сделать ей больно, и, не двигаясь с места, стал громко звать на помощь.

Какая-то исступленная особа стремглав влетела в комнату, и, как ни взволнован был мистер Лорри, он успел заметить, что вся она красная, и волосы у нее красные, а платье невообразимо обужено, на голове какой-то удивительный колпак, смахивающий то ли на гренадерский походный котелок довольно внушительных размеров, то ли на большой круг стилтокского сыра; она ворвалась в комнату, оттеснив сбежавшихся слуг, и мигом отцепила мистера Лорри от молодой леди, двинув его своей здоровенной ручищей в грудь с такой силой, что он отлетел к стене.

«А ведь это, должно быть, мужчина!» – пронеслось в голове у мистера Лорри в тот миг, когда он стукнулся о стену.

– Ну, что вы тут выстроились? – гаркнула особа на столпившихся слуг. – Нечего пялить глаза, чего вы во мне не видали? А ну-ка, несите сюда все, что нужно! нюхательной соли, воды, уксуса! да поворачивайтесь быстрее, а не то вы у меня такого дождетесь!

Прислуга мигом разбежалась за всеми этими оживляющими средствами, а она осторожно перенесла свою пациентку на диван и очень ловко и бережно уложила ее, приговаривая: «Ах ты мое сокровище! Птичка ты моя!» – заботливо и с умиленной гордостью откидывая со лба ее золотые кудри.

– А вы-то, сюртук коричневый, – с негодованием обрушилась она на мистера Лорри, – неужели же вы не могли сказать ей то, что вам требовалось, так, чтобы не напугать ее до смерти? Поглядите, какая она бледная! А ручки-то как лед, и это у вас называется «банковский служащий»?

Мистер Лорри был до такой степени озадачен этим вопросом, на который было трудно что-нибудь ответить, что не нашелся ничего сказать и только сочувственно и смиренно смотрел издали, как эта могучая особа, мгновенно разогнавши всех слуг загадочной угрозой дожидаться от нее чего-то неудобосказуемого, если они сию же минуту не уберутся вон, теперь заботливо отхаживала свою питомицу и, наконец, приведя ее в чувство, положила ее головку себе на плечо.

- Надеюсь, у нее это скоро пройдет, - выговорил мистер Лорри.

- Да, но вы-то здесь при чем, сюртук коричневый, уж вас-то благодарить не за что! Бедняжка моя!

- Я полагаю, - сказал мистер Лорри, помолчав некоторое время, с тем же сочувственным и смиренным видом, - вы сопровождаете мисс Манетт во Францию?

- Тоже выдумали! - огрызнулась могучая особа. - Да если бы мне на роду было написано по морям плавать, разве судьба забросила бы меня на остров?

Так как и на этот вопрос было столь же трудно ответить, мистер Джарвис Лорри удалился к себе в комнату, дабы поразмыслить над ним.

## Глава V

### Винный погребок

Большая бочка с вином упала и разбилась на улице. Это случилось, когда ее снимали с телеги: ее уронили на мостовую, обручи полопались, и бочка, треснув, как скорлупа ореха, лежала теперь на земле у самого порога винного погребка.

Все, кто ни был поблизости, бросили свои дела, или ничегонеделанье, и ринулись к месту происшествия пить вино. Неровные, грубо обтесанные камни мостовой, торчавшие торчком, словно нарочно для того, чтобы калечить всякого, кто осмелится на них ступить, задержали винный поток и образовали маленькие

запруды, и около каждой такой запруды (смотря по ее размерам) теснились кучки или толпы жаждущих. Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино, просто руками, сложив их ковшиком, и тут же и пили и давали пить женщинам, которые, нагнувшись через их плечи, жадно припадали губами к их рукам, торопясь сделать несколько глотков, прежде чем вино утечет между пальцев; другие – и мужчины и женщины – черпали вино осколками битой посуды или просто окунали платок, снятый с головы, и тут же выжимали его детишкам в рот; некоторые сооружали из грязи нечто вроде плотин, дабы задержать винный поток, и, следуя указаниям наблюдателей, высунувшихся из окон, бросались то туда, то сюда, пытаясь преградить дорогу бегущим во все стороны ручьям; а кое-кто хватался за пропитанные винной гущей клепки и жадно вылизывал, сосал и даже грыз набухшее вином дерево. Здесь не было водостока, вину некуда было уйти с мостовой, и ее не только всю осушили, не оставив ни капли, но вместе с вином поглотили такое количество грязи, что можно было подумать, уж не прошелся ли здесь старательный метельщик метлой и скребком, – да только вряд ли кто-либо из здешних жителей способен был представить себе такое чудо.

Звонкий хохот, изумленные возгласы, мужские, женские, детские голоса разносились по всей улице, пока шла эта охота за вином. В этом не было никакого буйства, просто всем стало очень весело. Всех объединяло чувство какого-то необыкновенного подъема, желание не отставать от других, готовность помочь друг другу, а у людей более удачливых или беспечных по натуре чувства эти проявлялись более бурно, – они бросались целоваться, обнимались, жали руки направо и налево, пили за здоровье друг друга или целой компанией в обнимку пускались в пляс. Когда все вино было выпито и колдобины, где оно собиралось особенно обильно, были так тщательно выскоблены, что на камнях мостовой вдоль и поперек отпечатались следы множества пальцев, – шумное оживление кончилось так же внезапно, как и началось. Человек, оторвавшийся от пилки дров и оставивший пилу в полене, снова пустил ее в ход; женщина, бросившая на пороге горшок с горячей золой, которым она пыталась отогреть окоченевшие от холода скрюченные пальцы или посиневшие ручки и ножки своего ребенка, снова схватила горшок; мужчины с засученными рукавами, нечесанные, всклокоченные, с бледными испитыми лицами, выскочившие из своих подвалов на зимний дневной свет, снова поплелись к себе, и на улице воцарилось мрачное уныние, более свойственное ей, нежели веселье.

Вино было красное, и от него по всей мостовой узкой улочки в парижском предместье Сент-Антуан, где разбилась бочка, остались красные пятна. И у

многих лицо, руки, деревянные башмаки или разутые ноги словно окрасились кровью. Руки человека, пилившего дрова, оставляли красные следы на поленьях; а на лбу женщины с ребенком осталось красное пятно от платка, который она только что окунала в вино, а теперь снова повязала на голову. У тех, кто облизывал и сосал клепки бочки, рот стал точно окровавленная пасть тигра; а какой-то верзила-зубоскал, в рваном колпаке, свисавшем, как мешок, у него с макушки, весь вымазавшийся вином, обмакнул палец в винную гущу и вывел на стене: кровь.

Уже недалек тот час, когда и это вино прольется на мостовую и оставит свои следы на очень и очень многих.

А сейчас в Сент-Антуанском предместье снова воцарился привычный мрак, изгнанный на мгновение светлым лучом радости, нечаянно заглянувшим в эти запретные владенья, где хозяйничают холод, грязь, болезни, невежество, нужда – все знатные владыки, и в особенности Нужда, самая могущественная из всех. Люди, раздавленные ею, словно чудовищными жерновами, – только, конечно, не той легендарной мельницы, что превращает стариков в молодых, – попадают на каждом шагу, их можно увидеть в каждой подворотне, они выходят из дверей каждого дома, выглядывают из каждого окна, дрожат в своих лохмотьях на всех перекрестках. Мельница, измолотившая их, перемалывает молодых в стариков. У детей старческие лица и угрюмые не по-детски голоса. И на каждом детском и взрослом лице, на каждой старческой – давней или едва намечающейся – морщине лежит печать Голода. Голод накладывает руку на все, Голод лезет из этих невообразимых домов, из убогого тряпья, развешенного на заборах и веревках; Голод прячется в подвалах, затыкая щели и окна соломой, опилками, стружками, клочками бумаги; Голод заявляет о себе каждой щепкой, отлетевшей от распиленного полена; Голод глазеет из печных труб, из которых давно уже не поднимается дым, смердит из слежавшегося мусора, в котором тщетно было бы пытаться найти какие-нибудь отбросы. «Голод» – написано на полках булочника, на каждом жалком ломте его скудных запасов мякинного хлеба, и на прилавках колбасных, торгующих изделиями из стервятины, из мяса дохлых собак. Голод щелкает своими иссохшими костями в жаровнях, где жарят каштаны; Голод скрипит на дне каждой оловянной посуды с крошевом из картофельных очистков, сдобренных несколькими каплями прогорклого оливкового масла. Голод здесь у себя дома, и все здесь подчинено ему: узкая кривая улица, грязная и смрадная, и разбегающиеся от нее такие же грязные и смрадные переулки, где ютится голытьба в зловонных отрепьях и колпаках, и все словно глядит исподлобья мрачным, насупленным взглядом, не предвещающим ничего доброго. На лицах загнанных людей нет-нет да и

проскальзывает свирепое выражение затравленного зверя, готового броситься на своих преследователей. Но как они ни забиты, ни принижены, у многих в глазах вспыхивает огонь, губы плотно стиснуты, а в суровых складках, бороздящих нахмуренные лбы, проступают налитые кровью жилы, похожие на веревки для виселицы, на которой либо им самим суждено кончить жизнь, либо они кого-нибудь вздернут. Торговые вывески – а их примерно столько же, сколько и лавок, – повсюду с зловещей наглядностью изображают нужду. На мясной и колбасной красуются не мясные туши, а какие-то остовы, на пекарне – жалкие ломти серого хлеба. Фигуры пьющих, намалеванные на вывесках питейных, сидят, нагнувшись над крохотными стопками с остатками мутного вина или над кружками с пивом, и вид у них грозный, точно у заговорщиков. И ни в одной лавке не выставлено ничего хоть сколько-нибудь добротного, кроме ремесленных орудий да оружия. Да! Ножи и топоры у ножовщика отточены и сверкают; и молотки у кузнечных дел мастера – увесистые, а у оружейника большой выбор смертоносного оружия. Выщербленная булыжная мостовая с ямами и ухабами, где не пересыхают лужи и грязь, упирается, за отсутствием тротуаров, прямо в дома. Зато сточная вода бежит по самой середине улицы, если только она не стоит, а бежит, что случается лишь во время проливного дождя, и тогда она мчится без удержу, затопляя все, что ни попадя, и низвергается в дома. Поперек через всю улицу, на довольно большом расстоянии друг от друга, висят на веревках с блоками железные фонари. Вечером, когда фонарщик опускает их, чтобы зажечь, а потом снова поднимает вверх, мутные точки тускло мигающих огней качаются на ветру, словно огни корабля, попавшего в шторм. Да шторм и в самом деле надвигается, и кораблю и его команде грозит разъяренная стихия.

Ибо близится время, когда эти отощавшие пугала из предместья, нагледевшись вдосталь на фонарщика, надумают с голодухи и от нечего делать, а не станет ли у них посветлее, ежели они сами попробуют орудовать веревкой с блоком и не лучше ли вешать людей вместо фонарей. Но это время еще не пришло, и ветер, ревуший над Францией, напрасно раздувает и треплет лохмотья пугал – голосистые птички в роскошном оперенье беспечно порхают, не замечая их.

Винный погребок помещался в доме на углу улицы и выделялся среди соседних домишек своим более зажиточным и опрятным видом. Хозяин заведения, в желтом жилете и зеленых штанах, стоя в дверях, смотрел, как народ бросился собирать хлынувшее ручьями вино.

– А мне что за дело, – промолвил он, пожав плечами, – возчики с рынка везли, им и отвечать. Пусть привезут другую.

Тут взгляд его упал на долговязого зубоскала, выписывавшего на стене свои каракули, и он окликнул его через улицу:

– Эй, Гаспар! Ты что это там вытворяешь?

Шутник с многозначительным видом, какой любят напускать на себя зубоскалы, ткнул пальцем в написанное им слово. Но на этот раз он просчитался, шутка его не имела успеха, впрочем это нередко бывает с шутниками.

– Да ты с ума сошел? – прикрикнул на него хозяин погребка и, перейдя через улицу, зачерпнул с земли пригоршню жидкой грязи и замазал надпись. – Что это тебе вздумалось писать этакое на улице? Или у тебя другого места нет, где ты мог бы записать для себя это слово?

Отчитывая его, он (нечаянно, а может быть, и нет) положил чистую руку ему на грудь. Шутник хлопнул себя рукой по тому же месту и, сдернув с ноги измазанный вином башмак, подкинул его высоко в воздух, подпрыгнул, поймал и, держа над головой, застыл в какой-то замысловатой фигуре танца. Видно, это был прирожденный шутник, но сейчас его ухмыляющаяся физиономия, измазанная винной гущей, сильно напоминала оскаленную волчью пасть.

– Надень, надень башмак! – сказал хозяин лавки. – И не называй вино иначе, как вином! – С этими словами он спокойно вытер свою грязную ладонь о лохмотья шутника, ибо из-за него же он и выпачкал руку, а затем пошел через улицу к себе в погребок.

Хозяин винного погребка был крепкий, плечистый мужчина лет тридцати с лишним, с солдатской выправкой и, по-видимому, горячий человек, потому что даже в такой холод носил камзол внакидку через одно плечо и ходил с засученными до локтей рукавами и с непокрытой головой, если не считать густой шапки черных вьющихся, коротко подстриженных волос. Лицо у него было смуглое, с большими, широко расставленными глазами, а взгляд довольно приветливый; видно было, что это человек решительный, и если уж он что задумал, так доведет до конца; не приведи бог никому столкнуться с таким на узкой дорожке над пропастью, – ничто не заставит его ни отступить, ни

свернуть.

В зальце, куда он вошел, сидела за стойкой его супруга, мадам Дефарж. Мадам Дефарж была дородная женщина, примерно тех же лет что и ее супруг, с внимательно настроженным взглядом, который редко на чем-нибудь задерживался: у нее были большие руки, унизанные кольцами, спокойное лицо с твердыми чертами и удивительно невозмутимая манера держаться. Глядя на нее, сразу можно было сказать, что мадам Дефарж, с какими бы сложными расчетами ей не пришлось иметь дело, – вряд ли позволит себя обсчитать. Мадам Дефарж была особа зыбкая и куталась в меховую душегрейку, а голова ее была обмотана яркой шалью, которая, однако, не закрывала крупных серег, болтавшихся у нее в ушах. Перед ней лежало вязанье, она только что отложила его и, опершись правым локтем на левую руку, ковыряла зубочисткой во рту. Когда вошел ее супруг, мадам Дефарж не произнесла ни слова, а только слегка кашлянула. Не вынимая зубочистку изо рта, она чуть-чуть приподняла свои тонко очерченные темные брови, и этого, по-видимому, было достаточно, чтобы заставить хозяина оглядеться по сторонам и обратить внимание на новых посетителей, появившихся здесь, пока его не было.

Хозяин обвел глазами помещение, и взгляд его задержался на пожилом господине и молодой девушке, сидевших в углу. Кроме них, в зале сидели двое за карточной игрой, двое за домино, а еще трое стояли у стойки и потягивали, не торопясь, скудные порции вина. Проходя к своему месту за стойкой, хозяин заметил, как пожилой господин показал на него глазами юной девушке, словно говоря: «Это он самый!»

«Какого черта вы сюда затесались? – подумал мосье Дефарж. – Я вас не знаю».

Но он сделал вид, что не замечает этих людей, и вступил в разговор с триумвиратом, выпивавшим у стойки.

– Ну, что там творится, Жак? – спросил его один из Этих троих. – Все вино вылакали?

– Все до капли, Жак, – отвечал мосье Дефарж.

Едва только было произнесено это имя, мадам Дефарж, не оставляя своей зубочистки, снова тихонько кашлянула, и брови ее поднялись чуть повыше.

– А многим ли из этих тварей несчастных, – заметил Дефаржу другой из той же троицы, – случается когда глотнуть винца или чего другого, кроме черствого хлеба да смерти! Верно я говорю, Жак?

– Верно, Жак, – отозвался мосье Дефарж.

Когда это имя прозвучало вторично, мадам Дефарж, все так же невозмутимо ковыряя во рту зубочисткой, кашлянула еще раз и еще чуть-чуть приподняла брови.

Последний из триумvirата сунул на прилавок пустой стакан и, облизывая губы, сказал:

– Эх! Чем хуже, тем лучше для этих злосчастных горемык! Нахлебались они горького, и жжет у них во рту. Тяжко им приходится, правда, Жак?

– Правда, Жак, – согласился мосье Дефарж.

Когда это имя было произнесено в третий раз, мадам Дефарж отложила зубочистку, повела приподнятыми бровями и слегка задвигалась на стуле.

– Да, правда, надо быть осторожней, – пробормотал Дефарж. – Разрешите, господа, – моя жена!

Трое посетителей сняли шляпы и учтиво поклонились мадам Дефарж. Она ответила на их поклон легким кивком и быстро окинула взглядом всех троих. Затем мельком посмотрела по сторонам и все с тем же невозмутимым видом спокойно принялась вязать.

– До свидания, господа! – сказал мосье Дефарж, все время внимательно наблюдавший за своей супругой. – А насчет той меблированной комнаты для одинокого, о которой вы тут справлялись, когда я выходил, – если вам угодно ее посмотреть, так она на пятом этаже. Вход на лестницу вон с того двора, налево, – и он показал рукой в окно. – Но, насколько мне помнится, один из вас уже был там, он вам и покажет дорогу. Всего доброго, господа!

Они расплатились за вино и вышли.

Мосье Дефарж все еще следил взглядом за женой, углубившейся в вязанье, когда пожилой господин, сидевший за столиком в углу, поднялся с места и, подойдя к хозяину, попросил уделить ему несколько минут для разговора.

– Сделайте ваше одолжение, мосье, – отвечал Дефарж и не спеша направился с ним к выходу.

Разговор был очень короткий, но весьма решительный. Чуть ли не с первого же слова мосье Дефарж вздрогнул и весь обратился в слух. Они поговорили несколько секунд, затем он кивнул и вышел. Пожилой господин в свою очередь шепнул что-то молодой девушке, и они тоже вышли. Мадам Дефарж проворно шевелила спицами и на этот раз даже бровью не повела – она ничего не видела.

Мистер Джарвис Лорри и мисс Манетт вышли из погребка и нагнали мосье Дефаржа во дворе, куда он только что направил тех троих. Маленький, грязный, запущенный, вонючий двор вел к сгрудившимся тесной кучей высокими, уродливым, густо заселенным домам. Они вошли в темный подъезд с выложенным плитками полом, где у темной каменной лестницы мосье Дефарж опустился на одно колено перед дочерью своего бывшего хозяина и, приложился губами к ее руке. Казалось бы – какая почтительность! – однако вид у него был далеко не почтительный. Напротив, какая-то удивительная перемена произошла с ним за эти несколько секунд; всю его приветливость как рукой сняло, ни следа не осталось от прежнего открытого выражения. Он производил теперь впечатление скрытного, озлобленного, опасного человека.

– Высоко очень. Трудновато взбираться, лучше потихоньку идти, – сурово обронил мосье Дефарж мистеру Лорри, когда они начали подниматься по лестнице.

– А он там один? – шепотом спросил мистер Лорри.

– Один! Помилуй бог, да кто же там еще может быть? – также шепотом ответил мосье Дефарж.

– Значит, он всегда один?

– Да.

– По собственному желанию?

– По необходимости. Ведь он какой был, когда я его первый раз увидел, когда они меня разыскали и спросили, не возьму ли я его, да только чтоб никто не знал, а то головой отвечу, – такой и остался, и сейчас все такой же.

– А очень он изменился?

– Изменился!

Хозяин винной лавки задержал шаг и, стукнув кулаком по стене, громко выругался. Вряд ли любой другой ответ прозвучал бы убедительнее. По мере того как они все трое поднимались все выше и выше, на душе у мистера Лорри становилось все тяжелей.

Даже и теперь в старых парижских кварталах лестница густонаселенного дома со всем тем, что ей неизменно сопутствует, представляет собой весьма непривлекательное зрелище. Но в те времена для человека непривычного у которого чувства еще не успели притупиться, это было нечто совершенно омерзительное. Из каждого жилого угла этого огромного, набитого битком смрадного лежбища, разместившегося внутри многоэтажного дома, другими словами, из каждой квартиры или каморки, дверь которых открывалась на общую лестницу, весь мусор, если не считан, того, что швыряли прямо в окно, выбрасывали на площадку. Эти слежавшиеся кучи никем не убиравшегося гниющего мусора сами по себе достаточно отравляли воздух, а нищета и нужда привносили в них свой непередаваемый смрад. В результате получалось нечто совершенно непереносимое. Сквозь вонь, висевшую в темной, узкой, как колодец, насыщенной миазмами лестничной клетке, надо было подняться на самый верх по каменной крутой грязной лестнице. Охваченный чувством тревоги и невольно заражаясь все усиливающимся смятением своей спутницы, мистер Лорри уже два раза останавливался перевести дух; и оба раза у мрачного, заделанного железной решеткой оконного пролета, через который едва ощутимые токи случайно задержавшегося свежего, неиспорченного воздуха словно стремились ускользнуть, а все тошнотворные зловонные испарения, точно стекаясь отовсюду, так и норовили ворваться внутрь. Через заржавленные прутья решетки можно было не столько созерцать, сколько обонять скученные громады домов. И вплоть до величественных башен собора Парижской Богоматери, видневшихся вдали, все, что ни громоздилось кругом, было так же

неприглядно, невзрачно и не сулило никаких надежд.

Наконец они дошли до верхней площадки и в третий раз остановились передохнуть. Здесь начинались ступеньки узенькой крутой лестницы, которая вела на чердак. Хозяин погребка, который шел немного впереди, все время стараясь держаться той же стороны, что и мистер Лорри, словно опасаясь, как бы молодая девушка не спросила его о чем-нибудь, повернулся к ним лицом и, порывшись в кармане накинутаго на плечо камзола, вытащил ключ.

– Так вы, значит, на ключ его запираете, любезный? – с изумлением спросил мистер Лорри.

– Запираю. Да. – мрачно ответил мосье Дефарж.

– Вы что же, считаете необходимым держать несчастного джентльмена под замком?

– Я считаю необходимым щелкнуть замком, мосье. – Дефарж сказал это шепотом, нагнувшись к самому уху мистера Лорри, и при этом еще более нахмурился.

– Да зачем же это?

– Зачем? Затем, что он так долго сидел под замком, что, если оставить дверь открытой, он перепугается насмерть, об стены будет биться, в буйство впадет, изувечит себя или невесть чего натворит.

– Может ли это быть? – воскликнул мистер Лорри.

– Может! – с горечью повторил Дефарж. – Да, в таком распрекрасном мире все может быть, не только это, а еще и многое другое, и не только может, а и бывает, черт возьми! – вот здесь, у нас, среди бела дня, каждый день, каждый божий день. Эх, да что говорить! Пошли!

Все это говорилось шепотом, и ни одно слово не коснулось слуха молодой девушки. Она и без того дрожала всем телом, и на лице ее было написано такое смятение, такой страх и – более того – ужас, что мистер Лорри счел своим

долгом подбодрить ее.

– Мужайтесь, дорогая мисс! Мужайтесь! Перед вами дело. Еще немного, и самое худшее будет позади. Осталось только войти в эту дверь, – и самое трудное будет позади! И тогда все благо, которое вы ему несете, спасение, счастье – все это войдет вместе с вами! Обопритесь на нашего доброго друга, он поддержит вас с той стороны. Вот и хорошо, любезный Дефарж, теперь идем! К делу, к делу!

Медленно, осторожно они поднимались по крутым ступенькам вверх. Небольшая лестница скоро кончилась, они очутились на площадке, – и тут перед ними внезапно выросли три фигуры; сблизив головы, они стояли, нагнувшись у низенькой двери, и заглядывали в щель в то самое помещение, куда вела дверь. Услышав сзади шаги, все трое обернулись, и когда они подняли головы, оказалось, что это та самая троица об одном имени, только что выпивавшая у стойки!

– Я совсем и забыл про них, вы ведь как снег на голову свалились, – пояснил мосье Дефарж. – Проваливайте-ка, ребята! У нас здесь дело есть.

Те молча один за другим прошмыгнули мимо них и молча стали спускаться по лестнице.

Никакой другой двери здесь не было, и, видя, что Дефарж направляется к ней с ключом, мистер Лорри, подождав, когда те трое скрылись, спросил его возмущенным шепотом:

– Вы что же, зрелище из этого делаете, показываете мосье Манетта?

– Да, показываю, как видите. Немногим избранным.

– Что же, это хорошо – так делать?

– Я думаю, что хорошо.

– А кто же эти избранные? И как вы их выбираете?

– Я выбираю из тех, кого считаю настоящими людьми, тех, кто носит одно со мной имя, – Жак, – и тех, кому полезно поглядеть на такое зрелище. Но... что говорить! Вы англичанин, – это совсем другое дело. Постойте-ка здесь минутку.

Он предостерегающе поднял руку, нагнулся и стал смотреть в щель. Потом выпрямился и раза два-три постучал в дверь, по-видимому только для того, чтобы там услышали шум. Затем, очевидно с той же целью, несколько раз громко звякнул ключом прежде, чем всунул его в замочную скважину, и, наконец с шумом повернул его.

Дверь медленно отворилась. Он заглянул в комнату и что-то сказал. Еле слышный голос ответил ему. Насколько можно было разобрать, и тот и другой произнесли что-то вроде междометия или какое-то коротенькое односложное слово.

Мосье Дефарж обернулся и поманил их рукой. Мистер крепко обхватил молодую девушку за талию и, поддерживая ее, чувствовал, что она вот-вот упадет.

– Относитесь по-деловому, по-деловому! – подбадривал он ее, а по щекам его, совсем не по-деловому, катились слезы.

– Мне страшно, я боюсь, – шептала она, трясаясь как в ознобе.

– Боятесь? Чего?

– Его... отца!

С какой-то отчаянной решимостью, вызванной и состоянием мисс Манетт и знаками, которыми их настойчиво звал за собой их провожатый, мистер Лорри перекинул себе через шею ее дрожащую руку, лежавшую на его плече, и, приподняв молодую девушку, почти внес ее в комнату. Он опустил ее на пол у самой двери, не отнимая руки, и она беспомощно прижалась к нему.

Дефарж вынул ключ из замка, захлопнул дверь, запер ее изнутри, снова вытащил ключ и повернулся с ключом в руках. Все это он проделал не спеша, явно стараясь производить как можно больше шума. Затем мерным шагом прошел через всю комнату к окну и остановился.

Чердак служил, по-видимому, когда-то складом для дров и угля, – здесь было пыльно и темно; слуховое окно в крыше было, в сущности, низенькой дверью без стекол, а над нею торчал крюк, на который накидывали веревку, чтобы поднимать и опускать вязанки дров или мешки с углем. Дверь открывалась посередине на две створки. Чтобы не студить помещение, одна створка была плотно закрыта, а другая только чуть-чуть приотворена. Свет так скупо проникал в эту щель, что сначала, пока не освоился глаз, в этой темноте почти ничего нельзя было разобрать, и только человек, давно свыкшийся с ней, мог постепенно приспособиться что-то делать и даже справляться с работой, требующей некоторого умения. Именно такой работой и был занят обитатель чердака, ибо, примостившись на низенькой скамеечке, спиной к двери, и лицом к слуховому окну, у которого остановился хозяин погребка, сидел согнувшись седой человек и старательно тачал башмаки.

## Глава VI

### Сапожник

– Добрый день! – сказал мосье Дефарж, глядя на белую как лунь голову, склонившуюся над работой.

Голова чуть-чуть приподнялась, и слабый голос ответил очень глухо, словно издали:

– Добрый день!

– А вы, я вижу, по-прежнему усердно работаете.

Наступило долгое молчание; потом голова снова чуть приподнялась, и голос ответил: «Да, работаю», испуганные глаза взметнулись на вопрошавшего, и тут же голова снова опустилась.

Жалость и содрогание вызывал этот слабый, глухой голос. Это была не просто телесная немощность, хотя долгое заключение и скудная пища, конечно, оказали свое действие. В этом почти беззвучном, невыразительном голосе

чувствовалась глухота одиночества, отвычка от человеческой речи. Голос этот был словно последний, чуть слышный отзвук далекого, давно умолкшего эхо. Безжизненный, лишенный всякого звучания, присущего человеческому голосу, он вызывал в душе такое же щемящее чувство, какое охватывает вас перед выцветшим полотном, на котором вы тщетно ищете следы прежних живых красок. Невнятный, сдавленный, он словно доносился из-под Земли. И так ясно чувствовалось, что это голос человека, утратившего все надежды, погибшего безвозвратно, отчаявшегося, что казалось – вот таким голосом одинокий путник, сбившийся со следа в пустыне, истомленный голодом и жаждой, вымолвит, падая без сил, последнее прощание своему дому и своим близким.

Он продолжал работать не разгибаясь, и прошло несколько минут, прежде чем он снова поднял блуждающий взгляд без какого бы то ни было интереса или любопытства, а тупо и машинально, лишь для того, чтобы убедиться, что то место, где стоял его посетитель, еще не опустело.

– Я хочу света немножко прибавить, – сказал Дефарж, не сводя глаз с сапожника. – Как вы, потерпите, если будет чуточку посветлей?

Сапожник оторвался от своей работы и уставился отсутствующим взглядом в пол, сначала направо, потом налево от себя, словно прислушиваясь, потом поднял глаза на говорившего:

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://telnovel.me/charlz-dickens/povest-o-dvuh-gorodah-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)